

ЛЕВ ЛУРЬЕ

ОКНО
в
ИСТОРИЮ



Без Москвы

bhv®

Окно в историю

Лев Лурье
Без Москвы

«БХВ-Петербург»

2014

Лурье Л. Я.

Без Москвы / Л. Я. Лурье — «БХВ-Петербург», 2014 — (Окно в историю)

Петербург и Москва – два российских мегаполиса, бывшая и нынешняя столицы, соревнование между которыми не прекращается никогда. Книга посвящена описанию петербургской «самости», того, что делает жителей города непохожими ни на москвичей, ни на провинциалов. Действия книги охватывают век между 1912-м и 2012-м годами: между городом Александра Блока, Павла Милюкова и Тамары Карсавиной и местом, где живут Василий Кичеджи, Роман Широков и Сергей Шнуров. От акмеистов до хипстеров: обычаи, персонажи, трагедии и комедии города «славы и беды».

Содержание

Почему без Москвы?	6
Глава 1	7
Крона и корни петербургского снобизма	8
Десять отличий третьего города	14
Пролетарская рыбка	21
Рюмочные: уходящая натура	25
Конец ознакомительного фрагмента.	29

Лев Лурье Без Москвы

Памяти Евгения Мороза (1950–2011)

© Лурье Л. Я., 2014

© Оформление, издательство «БХВ-Петербург», 2014

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

Почему без Москвы?

После марта 1918 года, когда большевики перевели столицу из Петрограда в Москву, городу пришлось заново находить свою «самость». В пределах СССР, а потом России Ленинград должен был отстроиться от первопрестольной. Превратившись, как некогда Москва, в «порфиноносную вдову», город обрел новую физиономию и репутацию.

В английском языке есть такое слово «overeducated», что означает – обладающий ненужными и даже обременительными знаниями: конструктор на должности фрезеровщика. Для провинциального города в Петербурге слишком много библиотек, музеев и университетов. Но мало рабочих мест для интеллигенции – ни правительства, ни Думы, ни издательств, ни журналов. Использовать свой интеллектуальный ресурс с марта 1918 года, когда столица переехала в Москву, петербуржцам стало трудно. Поэтому Петербург в России – примерно то же, что Англия в англосаксонском мире – место бедное, стильное, нездоровое, с традициями, иногда бессмысленными.

С 1920-х годов здесь всегда было множество чудаков, знатоков ненужных дисциплин, любителей неизвестных поэтов и знаменитостей для узкого круга.

Обэриуты с их абсурдистскими и не рассчитанными на публикацию текстами; краеведы 1920-х, изучившие каждый квадратный сантиметр бывших императорских дворцов; изобретшие «Космическую академию» сверстники и приятели будущего академика Лихачева – все они представляли, говоря нынешним языком, «контркультурные молодежные движения». С тех пор эта традиция никогда не прерывалась.

Местом сосредоточения таких молодых людей оставался Невский проспект и его окрестности. Здесь встречались мрачные поэты и художники-экспрессионисты начала 1950-х из группы Арефьева, а в 1956 году прошла демонстрация против искусства социалистического реализма, приуроченная к открытию выставки Пикассо. Здесь торговали записями Дюка Эллингтона, нанесенными на рентгеновские пленки; у витрин Елисеевского магазина кучковались короли Приморской трассы – фарцовщики, атаковавшие финские автобусы на мотоциклах «Ява». В «Кулинарии» на Малой Садовой пили «маленький двойной» поэты (Алексей Хвостенко, Сергей Стратановский, Евгений Вензель), позже перекочевавшие в «Сайгон», на угол Владимирского и Невского. Чуть более денежные сверстники Бродского, включая самого будущего лауреата Нобелевской премии, – Сергей Довлатов, Валерий Попов, Андрей Битов, Евгений Рейн, Анатолий Найман, Глеб Горбовский – предпочитали ресторан «Крыша» в гостинице «Европейская», где по вечерам играл джаз и всегда находился кто-нибудь, кто платил по счету. У подножия памятника Екатерине Великой исторически встречались геи. Из курилки Публичной библиотеки в Александро-Невскую лавру отправлялись знатоки религиозной философии. У Литейного обменивались книгами и информацией подпольные букинисты, антиквары, ценители иконописи, специалисты по поддельному Фаберже. В вестибюле кафе «Север» играли в шмен центровые, кормившиеся от Гостиного Двора. Общероссийским центром встреч хиппи-системщиков был садик на Стремянной, около кафе «Эльф». Гребенщиковское поколение «дворников и сторожей» кочевало от магазина пластинок в доме католической церкви до рок-клуба на улице Рубинштейна. Ближе к Лиговке – подпольные катраны, где лохов разводили по-крупному, курили планчик и нюхали марафет.

Большинство этих людей рано умерли, спились, сошли с ума, просто сгинули, но они-то и создали Ленинграду репутацию слегка безумного, неврастеничного города непризнанных гениев. Кое-кто и вправду был гением.

В этой книге мы надеемся взглянуть на Петербург как некую отдельную общность, почти цивилизацию.

Глава 1

Самость

Вычленение петербургской манеры, стиля, характера поневоле должно ограничиваться некими импрессионистскими зарисовками. В отношении национальных особенностей такие попытки описания всегда оборачиваются либо расизмом, либо идеализацией и разительно неточны. Грузины милы и гостеприимны – скажет любитель пламенной Колхиды, но тут же осечется, подумав о Берии и Сталине. Евреи – маменькины сыночки, книгочеи, идеалисты. Бывает. Но что вы скажете о чудовищных следователях НКВД или о свирепых израильских коммандос? Подобные примеры легко множатся. И тем не менее что-то феноменальное в петербуржцах чувствуется. Попробуем вычленить лежащее на поверхности.

Крона и корни петербургского снобизма

Крона

При самом поверхностном взгляде на Петербург обнаруживаем настороженную угрюмость жителей. Сравните московский, не будем говорить уже о киевском, вагон метро с питерским. У них ровный гул голосов, люди не стесняются друг друга, реплика, брошенная в воздух, тут же подхватывается, молодежь балагурит, старушки обсуждают цены и болезни. У нас – настороженное молчание, взгляд избегает взгляда, случайное прикосновение – удар электрического тока. Громкий разговор встречает всеобщее молчаливое осуждение.

Москвичи легко переходят на «ты», при встречах целуются, приветливы к приезжим. В Петербурге поцелуи считаются признаком дурного вкуса, рукопожатия заменяются простым кивком, о человеке, живущем в Питере не один год, а то и десятилетие, говорят: «Эта NN, знаете, из Дубоссар». На «ты» обращаются разве что к одноклассникам, да и то с каким-то внутренним неудобством.

И приязнь, и неприязнь выражаются одинаково: чуть большее внимание к собеседнику, чуть сдержаннее полупоклон. Быть знаменитым – некрасиво, успех ассоциируется с пошлостью, конформизмом, недалекостью. Включенность в «большой» мир – успеха, денег, гастролей, больших тиражей, «Останкино» – с точки зрения петербургского сноба не комильфо. Логика строится на следующем простом силлогизме: Хармса не печатали; «Избранное» Бродского не могло выйти в «Советском писателе»; «Зону» Довлатова трудно было вообразить на страницах «Авроры», – так что же может представлять собой какой-нибудь Евграф Мелитопольский, опубликованный в «супере» тиражом 30 тысяч? Должно быть, пошляк и прохождец.

Норма – телесный изъян или болезнь (но обсуждать немощи, а тем более жаловаться на них – неприлично), честная бедность, совершенное знание чего-либо житейски бесполезного. В нашем климате отсутствие гайморита, ну или уж простого вазомоторного ринита просто подозрительно. Достоевский писал: «Это город полусумасшедших. Если бы у нас были науки, то медики, юристы и философы могли бы сделать над Петербургом драгоценнейшие исследования, каждый по своей специальности. Редко где найдется столько мрачных, резких и странных влияний на душу человека, как в Петербурге. Чего стоят одни климатические влияния!» Действительно, число странных, сирых, убогих на улицах Петербурга, особенно где-нибудь у Владимирской церкви или в районе Сенной, превосходит всякое вероятие.

Может быть от того, что петербуржец живет в городе, где здания похожи на декорации пьесы столетней давности, он чувствует себя скорее персонажем литературного произведения, нежели человеком, живущим здесь и сейчас. Довлатов о Бродском: «Он не боролся с режимом. Он его не замечал. И даже нетвердо знал о его существовании. Его неосведомленность в области советской жизни казалась притворной. Например, он был уверен, что Дзержинский – жив. И что “Коминтерн” – название музыкального ансамбля. Он не узнавал членов Политбюро ЦК. Когда на фасаде его дома укрепили шестиметровый портрет Мжаванадзе, Бродский сказал: “Кто это? Похож на Уильяма Блэйка...”». Множество тем в петербургских салонах табуировано для обсуждения: Путин, Навальный, Виктук, Михалков, эстрада, телевидение, личная жизнь знаменитостей. Почтенным считается нефункциональное знание: древнекоптский язык, обстоятельства биографии писателя Константина Вагинова, история Красненького кладбища.

Всяческая «игра в бисер» приобретает в Петербурге необычайно серьезный характер. Местные образцовые издания последних лет – исторические альманахи «Минувшее» и «Лица», энциклопедические справочники «Храмы Петербурга», «Исторические кладбища

Петербурга», «Архитекторы-строители Петербурга» – являют собой образцы долгого, затворнического труда, не подразумевающего громкого внешнего успеха. Они наследники еще более герметичных самиздатских машинописных журналов 1970–1980-х годов. Толстые тома «Часов», «Метродора», «Обводного канала», «Северной почты», «Митинского журнала», «Сигмы», «Памяти», выходившие тиражом то 6, то 12 экземпляров каждый, напоминали по несуетной тщательности выполнения рукописные своды средневековых монахов. Поэты каждые несколько лет «издавали» свои сборники, перепечатанные поклонниками и переплетенные друзьями, и раздавали немногочисленным почитателям. Рок-музыканты первыми в России начали распространять свои домодельные «альбомы», разрисовывая от руки обложки кассет.

Настоящий петербуржец летом гуляет на Островах, его можно встретить на солнечной стороне Невского, в Эрмитаже, в верховой аллее Летнего сада (до леденящей душу последней «реновации»). У него есть излюбленные кварталы – Коломна, юг Петербургской стороны, Ямские, округа Инженерного замка, – где можно побродить с приятелем, поговорить о кинизме или председателе Третьей Думы Хомякове. Чтобы распить бутылочку с давним знакомцем, он готов совершить длительное путешествие, но место должно быть специальное: спуски к воде у Никольского собора, бастион Петропавловки, двор с брандмауэром на Графском переулке. Ему физически невыносимы улицы Партизана Германа или Белы Куна, уж лучше Обводный канал, Нейшлотский переулок, Малая Охта.

Вообще любовь к городу имеет всеобщий и обязательный характер. Полагается знать не только Росси и Стасова, но и Сюзора, Месмахера, Кричинского. Настоящий знаток укажет вам дореволюционное местоположение всех булочных Филиппова, особенно живописные проходные дворы с Невского на Малую Итальянскую (ныне – улица Жуковского), парадные с сохранившимися витражами на Каменноостровском, перечислит главные постройки епархиального архитектора Никонова и проводит к лестничному пролету, в который бросился Всеволод Гаршин.

Петербургская настороженность к любому утвердительному высказыванию выражается и в электоральном поведении. Москва любит мужчин, лучащихся энергией, обаятельных дядек – Ельцина, Попова, Лужкова, Шойгу. Политики ныряют в проруби, отфыркиваются, бодро принимают рюмаху. Там больше голосов получают партии известные. Питер предпочитает злоречивых, голосует не «за», а «против». Так в свое время проголосовали за следователя Иванова (против Лигачева), потом за Яковлева (против Собчака), за кого угодно, кроме «Единой России».

В петербуржце всегда жива идея правил поведения, не подлежащих нарушению. Даже говорим мы как пишем: «конечно», «булочная». Всякая безвкусица вызывает мощный, часто неадекватный отпор. Вот Пушкин встречает молодого, явно талантливую московского критика Николая Надеждина: «Он показался мне весьма простонародным, vulgar, и безо всякого приличия. Например, он поднял платок мною уроненный».

Ахматовой не нравятся «Записки старого петербуржца» Льва Успенского. Ну, нравится, не нравится. Но как зло она его отчитывает: «Как странно, что уже через 40 лет можно выдумывать такой вздор. Что же будет через 100? Глазам не веришь, когда читаешь, что на петербургских лестницах всегда пахло жареным кофе. Ни в одном respectable петербургском доме на лестнице не пахло ничем, кроме духов приходящих дам и сигар проходящих господ. Товарищ, вероятно, имел в виду так называемый “черный ход”... но все же черные лестницы пахли в основном кошками».

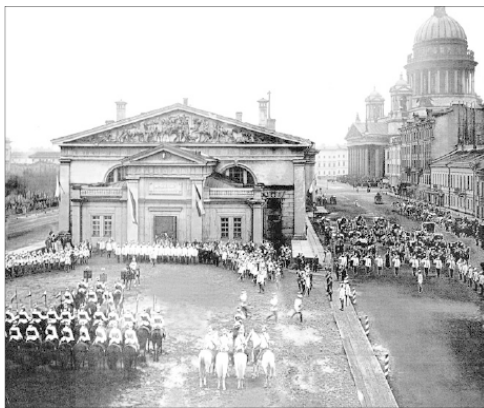
Ученики Ахматовой общались с малознакомыми людьми часто просто бессмысленно дерзко. Бродский впервые представленный Ахматовой Лидии Корнеевне Чуковской: «Ваш отец, Лидия Корнеевна, ваш отец написал в одной из своих статей, что Бальмонт плохо перевел Шелли. На этом основании ваш почтеннейший рече даже обозвал Бальмонта – Шельмонтом. Остроумие, доложу я вам, довольно плоское. Переводы Бальмонта из Шелли подтверждают,

что Бальмонт – поэт, а вот переводы Чуковского из Уитмена – доказывают, что Чуковский лишен переводческого дара».

«У меня нет мировоззрения, у меня есть нервы», – словами Акутагавы мог бы сказать о себе настоящий язвительно-вежливый петербуржец. Как заключает Анатолий Найман, человек, воплощающий петербургский снобизм, его поколению было свойственно «сохранение независимости во что бы то ни стало до какой-то даже оголтелости... Прямая шея, прямые плечи, юнкерский взгляд, устремленный в навсегда далекую цель».

Довлатов писал: «Ленинград обладает мучительным комплексом духовного центра, несколько ущемленного в своих административных правах. Сочетание неполноценности и превосходства делает его весьма язвительным господином». Гонор присущ нам, как присущ он в Европе полякам, и по той же причине: мы чувствуем нашу относительную бедность и подчиненность столице. Непонятное высокомерие петербуржцев вызывает оправданное раздражение москвичей. Но без снобизма, отвращения к амикошонству, болезненного чувства собственного достоинства мы не были бы сами собой.

Корни



Парад лейб-гвардии Конного полка возле Манежа в день полкового праздника. 1903 год. Фото Карла Буллы

Откуда все это взялось? Петербург императорского периода – гвардия, бюрократия, двор, канцелярии, аудитории, редакции. Наверху, как писал Лев Толстой, «собственно свет – свет балов, обедов, блестящих туалетов, свет, державшийся одной рукой за двор, чтобы не спуститься до полусвета, который члены этого круга думали, что презирали, но с которым вкусы у него были не только сходные, но одни и те же». Сливки петербургского «большого света» – гвардия. Жизнь гвардейского офицера подчинена множеству неписаных правил. Можно сказать, что сословное общество вообще, а гвардия в особенности жили не по законам, а по понятиям, сводящимся в итоге к системе запретов. Гвардеец не может тратить мало, жить в Песках, носить мундир и фуражку не от портного Фокина, допивать в ресторане бутылку шампанского до конца, торговаться, терпеть оскорбление, жениться на купчихе, плохо говорить по-французски.

Светскому человеку противостоит разночинец – студент, литератор, чиновник. Как немислимо во времена Стасова и Крамского было любить Росси и Кваренги, так и отношение к «свету» у интеллигенции сменяется с восторженно-заискивающего на презрительно-равнодушное. Петербургский разночинец ненавидит гвардейца, он для него, «мыслящего пролетария», не человек, скорее племенной конь. Скажем у Достоевского, писателя вообще антидворянского («помещик» для него почти ругательство), гвардеец всегда фигура сомнительная – «светская, развратная, тупая тварь», на страницах «Дневника писателя» эпизодический

«кавалерийский офицер из одного известного кавалерийского полка держит себя в каком-то надменном уединении и молчит свысока».

Но и сам столичный разночинец, как правило, лишенный корней в Петербурге, мучительно борющийся за существование и признание, постепенно приучается жить в мире правил и неформулируемых формальностей. Нельзя читать определенные («рептильные») газеты и печататься в них, подавать руку господам с сомнительной политической репутацией, следует любить Салтыкова, Чернышевского, Некрасова, признавать талант в Толстом (но предпочитать ему Тургенева) и ругать Достоевского за обскурантизм. Нарушение либеральных приличий чревато изоляцией, отказом в литературном заработке, разносными рецензиями, уходом жены или изменой невесты. Отсюда, кстати, страшная раздражительность к любому нарушению приличий у самых разных петербургских писателей – Достоевского, Салтыкова, Михайловского, Лескова.



Студенты Императорского Санкт-Петербургского университета с профессором Н. А. Меншуткиным в Большой химической аудитории. 1900 год

Петербургских Карениных и Вронских с одной стороны и петербургских Раскольниковых и Ипполитов с другой, и объединяло и разъединяло отсутствие в Петербурге московского всеобщего братства, того роевого начала, которое всегда отличало первопрестольную. Столице был чужд московский непрекращающийся банкет, всеобщие гуляния в Сокольниках, братания Аксаковых с Солдатенковым и Кокоревым, Рябушинского и Андрея Белого, старообрядцев и никониан, князей и актеров. Острое ощущение принадлежности к своему кружку и социальному слою делали всеобщим только формальный язык этикета. Москва и провинция на знаменитый вопрос героя Островского: «Так вот, друзья любезные, как хотите: судить ли мне вас по законам, или по душе, как мне Бог на сердце положит?» – несомненно выбрали бы суд по душе. Петербург не знал этой всепримиряющей душевности и предпочитал закон.

Горожанин живет в среде, где ему поневоле приходится тесно соприкасаться с людьми отличного от него социального происхождения, имущественного положения, культурного уровня, привычек. Более того, вся городская жизнь построена на социально-культурных контрастах. В больших городах, подобных Петербургу, отдельные районы, улицы или даже этажи одного и того же доходного дома отличались социальным статусом, национальным и конфессиональным происхождением своих жильцов.

В этих условиях особенно важен ясно выраженный язык поведения, как сигнал радара, отличающий свой самолет от чужого. Он предопределяет норму поведения собеседника, встречного, делового партнера. Строгие правила, отсутствие амыкошонства, нежелание поддерживать разговор на «чужом» языке позволяют сохранить чувство собственного достоинства в любой ситуации. То, что кажется формой привыкшему к большей социальной гомогенности москвичу или одесситу, в Петербурге является нормой существования.

Статья Александра Бенуа «Живописный Петербург» вышла в 1902 году, когда уже близки были Цусима, 9 января. В статье впервые со времен Пушкина утверждалось: Петербург прекрасен. Город становится объектом восхищения в преддверии своего краха как центра петровской государственности, воплощает меркнувшее величие этой государственности. Мирискуснический и акмеистический культ города – предчувствие и ознаменование конца России Пушкина. Эта тоска по времени ампира и дуэлей касалась, конечно, и архитектуры и всего городского уклада.

Принадлежность к этой традиции в начале века осознавали не те, кто по праву крови наследовал ее создателям, не люди все менее блестящего «большого света» (они как раз любили теоретически русский стиль и московские святыни). Первое поколение петербуржцев *per se* – дети разночинцев, служилых дворян, инородцев и иноверцев – Бенуа, Добужинский, Блок, Ахматова, Мандельштам. Они это придумали, создали идеологему. Договорили же все до конца как всегда талантливые адепты.

«О, эти гигантские просторы площадей, где можно делать смотр целым армиям. Тяжелые глыбы дворцов. Каменные всадники на памятниках – императоры и полководцы. Тусклое золото куполов Исаакия над мраморными громадами колонн, разве вся эта пышная красота не говорит о величии власти? “Город казарм”, – скажет язвительный враг. Да, казарм. Город гвардии и преторианцев. Но разве власть когда-нибудь опиралась на что-нибудь иное, как на штыки солдат?» – писал близкий к акмеистам прозаик Сергей Ауслендер.



Съезд писателей. Петербург. 1910 год. Фото Карла Буллы

«Петербург воплотил мечты Палладио у полярного круга, замостил болота гранитом, разбросал греческие портики на тысячи верст среди северных берез и елей. К самоедам и чукчам донес отблеск греческого гения, прокаленного в кузнице русского духа», – так в статье «Три столицы» говорил о петербургском ампире философ Георгий Федоров.

Любовь к классическому Петербургу привела к реабилитации гвардейско-светской манеры поведения. «С важностью глупой, насупившись в митре бобровой, я не стоял под египетским портиком банка, и над лимонной Невой под хруст сторублевой мне никогда, никогда не плясала цыганка», – писал Мандельштам. Но это не мешало его «ребяческому империализму» – неожиданному и опасному желанию пить в советском Ленинграде за «военные астры» (гвардейские эполеты). Уход Гумилева добровольцем на войну, а потом участие в белом заговоре, сознательно культивируемый аристократизм Ахматовой, неожиданный для эпикурейца Кузьмина почти некрасовский пафос «Форели» – следствие этого нового культа Петербурга.

До 1917 года в спор о двух столицах вносился некий историософский смысл, связанный с ролью петровского культурного переворота в российской истории. Между 1918 и 1991 годами ущемленные жители невских берегов вкладывали в свои антимосковские инвективы скрытый протест против советской власти и вообще не слишком симпатичной, да еще и лишившей их город столичного статуса. Собственно в это время и возник ленинградский региона-

лизм, имевший в своем основании пассаистский миф. Ленинградский регионализм зародился в 1920-е из тоски по старому миропорядку и утраченному столичному статусу, когда от старого Петербурга остались только архитектурные ансамбли, Кировский балет, Эрмитаж, пирожные «Норда» и Анна Ахматова. Важность, ирония и этикет обороняли от новой реальности и помогали «держат тон».

Региональная идея – своеобразный смягченный вариант идеи национальной. На место борьбы с иноземным захватчиком-угнетателем выдвигается противопоставление региональных интересов государственным, воплощенным в столице. Малороссийский миф создал, в конце концов, независимую Украину. Казацкий – вдохновлял Шкуро и Краснова в Гражданскую и до сих пор заставляет взрослых мужиков носить на праздники штаны с незаслуженными лампасами.

Пик интереса к краеведению, архитектуре модерна, акмеистам и мирискусникам был в Ленинграде 1970–1980-х годов конечно неслучаен, как и культ Шевченко на Украине или национальной певческой традиции в Эстонии в то же время. Борьба за сохранение «Англетера», выведшая в 1987 году на Исаакиевскую площадь тысячи людей, скандал вокруг дамы, история «Ленинградской свободной экономической зоны», исход референдума о переименовании города, возникновение автономизма, выборы в Ленсовет в 1990-м – все это подпитывалось регионалистской идеей.

Манера поведения, в отсутствие самостоятельного петербургского языка и других признаков этноса, играет в городской субкультуре важнейшую роль. Всякая «самость» холится и лелеется.

Ну а так как в Петербурге рефлексия всегда преобладала над деятельностью, а возможности самореализации в официальной культуре и бизнесе уступали Москве, манеры и вкусы всегда имели огромное значение. Сдержанная ирония, эрудиция, несколько манерная вежливость и неожиданная взбрычливость, наша гвардейско-разночинская кичливость всегда будут радовать или раздражать провинциалов и москвичей. В мире нет людей бесслезней, надменнее и проще нас. Нашему городу свойственна скромность формы. Мы любим рациональных, немногословных, нордически-сдержанных Косыгина, Яковлева, Кудрина, Путина, Полтавченко – почти сливающихся с нашим неброским пейзажем. Если Собчак любил шум, треск, величие замыслов, танец с Лайзой Миннелли, свадьбу Пугачевой, прогулку с Тернером и на самом деле, конечно, лучше бы исполнял обязанности правящего бургомистра веселой Вены; а Валентина Матвиенко тянулась к фонтанам, цветам и яркой одежде фирмы «Прада», то постный, почти вегетарианский Яковлев всегда лучше смотрелся на строительной планерке, чем на приеме в честь Королевы Британской. Поэтому-то его выбирали и переизбирали.

Однако и это могло быть для нашего города хорошим делом: что Москве – смерть, то для Питера, как известно, – здорово.

Десять отличий третьего города

Петербург – особый «предумышленный», как сказал Достоевский, город. Он не похож ни на один другой в мире по вполне объективным историческим и географическим причинам. Вот вам для ровного счета 10 отличий Петербурга от любого, сравнимого по величине.

1. Четырежды переименованный

Это город, название которого за 100 лет менялось четырежды: Санкт Петербург – до 1914, Петроград – между 1914 и 1924, Ленинград – до 1991, и снова – Петербург по нынешний день. Каждое имя города вызывало сомнения. Первоначальное «Санкт Петербург» – латинско-голландское словообразование с неясным смыслом. В честь апостола Петра? Тогда почему не Святопетровск? В честь царственного основателя? Но его никто не собирался канонизировать, почему же тогда «Санкт»?

Конъюнктурное «Петроград», появившееся из-за войны с Германией, не прижилось и стало странным исключением из топонимических правил. В сущности почести лишили не императора, а его патримониального святого, к тому же другие звучащие по-немецки названия на карте России остались (Шлиссельбург, Екатеринбург, Ораниенбаум).

То же и «Ленинград»: в январе 1924 года почувствовавший себя наследником большевистского престола красный проконсул северной столицы Григорий Зиновьев поспешил немедленно после смерти Ленина закрепить этот бренд за своим городом: по его мысли Ленинград должен был стать, ни больше ни меньше, столицей коммунистического мира по окончании ожидаемой мировой пролетарской революции. Не случилось ни революции, ни переноса столицы; сам Зиновьев через год был низвергнут из Смольного.

Наконец, последнее переименование, хотя и было одобрено горожанами на референдуме, не прижилось в языке. Горожане последние десятилетия называли свою родину «Питером», как бы официально город не именовался.

2. Самый северный мегаполис

Петербург – самый северный из крупных городов и самый крупный из северных. Шестидесятая параллель, на которой стоит Петербург, проходит через Магадан, Чукотку, Аляску и Гренландию, столицу Норвегии Осло. Севернее Петербурга из более-менее крупных городов расположены Рейкьявик, Мурманск, Петрозаводск, Архангельск, Воркута, Норильск, Якутск, Анкоридж, Хельсинки. Впрочем, хотя погода в городе ужасна, особых холодов не бывает: чувствуется смягчающее присутствие Балтики. В Якутии на той же широте средняя температура января –40 °С, в устье Невы –7,7°. Колебания средней за месяц температуры в Петербурге очень велики, поэтому в особо холодные зимы мы как бы попадаем в климатические условия Новой Земли (так было в блокадном январе 1942 года и в страшные зимы 2010 и 2011 годов), а в теплые зимы смещаемся к берегам Азовского моря или в область теплого морского климата западной Балтики (январь 1925 года). В Петербурге в течение всего года обычно пасмурно. Дней без солнца в холодный период 75–85 %, а в теплый 50–60 %. Ясная погода осенью и зимой в Петербурге – явление редкое, за месяц бывает обычно только один-два ясных дня. Туманы в Петербурге наблюдаются в среднем 32 раза в течение года. Зато Петербург присвоил себе Белые ночи как собственную уникальную особенность, туристический аттракцион (во многом благодаря одноименной повести Федора Достоевского).

3. Город-феникс

В 1727 году Петр II, сын несчастного царевича Алексея, решил вернуть столицу и двор обратно в Москву, порвав с наследием своего отцеубийцы-деда. За четыре года Петербург превратился в город-призрак: недостроенные каналы зарастали ряской, брошенные дома разрушались, горожане разбегались. Но вступила на престол Анна Иоанновна, вернула Петербургу столичный статус и довела до завершения постройки своего царственного дяди.

За последние 100 лет дважды – в блокаду и в Гражданскую войну – над Петербургом как бы взрывалась нейтронная бомба: население вымирало, здания оставались практически нетронутыми. К 1917 году в Петрограде жило 2,5 миллиона человек, после страшного голода 1918–1920 годов в опустевшем городе осталось 600 тысяч. Кто-то погиб на фронтах Гражданской, кто-то – от пуль чекистов на полигоне под Ржевкой или в Петропавловской крепости. Многие умерли от холода и голода. Эмигрировала большая часть чиновной, военной и интеллектуальной элиты. Рабочие, прислуга, приказчики, потерявшие работу, вернулись на свою малую родину – в деревню. И опять город напоминал призрак, и был, как вспоминают современники, необычайно красив и величественен: без людей он выглядит намного лучше. Но начался НЭП и население снова стало расти с необычайной скоростью. А оставшиеся в городе «славы и беды» Анна Ахматова, Михаил Кузьмин, Иван Павлов и проявившие себя в 1920-е Павел Филонов, Казимир Малевич, Михаил Зощенко, Дмитрий Шостакович, Даниил Хармс сумели сохранить авангардный культурный мегаполис мирового значения.

Перед началом блокады Ленинград насчитывал 3,4 миллиона жителей, в 1943 году – 600 тысяч. На этот раз, главной причиной исчезновения людей стала смерть. Число умерших значительно превысило число сумевших выбраться из блокадного города по «Дороге жизни». По крайней мере, миллион человек умерло от голода. Зафиксированы тысячи случаев людоедства. Линия фронта шла по жилым районам, по летним резиденциям российских императоров. Ни один город Европы не испытывал в годы Второй мировой таких трагических опустошений.

Только к концу 1960-х численность населения в городе достигла довоенного уровня. Но главное, оставались Ахматова, Зощенко, Акимов, появились Довлатов, Барышников, Нуриев, Бродский. Иосиф Бродский писал: «В этом городе примерно каждые двадцать-тридцать лет происходит какой-то творческий всплеск. Он должен повториться – хотя бы потому, что петербургский пейзаж не изменился. Поскольку Петербург – это город у моря. И, как следствие этого, в сознании человека, там живущего, начинает возникать – быть может, фантазмагорическое, но чрезвычайно сильное – представление о свободе».

Как саламандра, сбрасывая хвост, снова обретает его, Петербург каждый раз после опустошения восстанавливал численность населения, дух и характер.

4. Юный

Петербург – самый молодой большой европейский город. Даже местность, на которой находится город, возникла сравнительно недавно. К тому времени, когда Нева прорвала Карельский перешеек и потекла из Ладоги в Балтику, Конфуций уже создал свои основные сочинения, прошел свой земной путь Будда, были написаны Одиссея и Илиада, а Египет завоевали персы.

5. Заливаемый

Дельта Невы стала русской еще в IX веке, при Рюрике. Но ни варяги, ни новгородцы, ни московские воеводы (с 1478 года Нева стала частью Московской Руси) и не думали строить на этих топких островах город. И шведы, аннексировавшие невское устье в 1617 году, построили свой городок – Ниеншанц выше по течению реки, там сейчас окраины Петербурга. Гиблое место: возводить здесь что-нибудь капитальное может только безумец.

Почти каждую осень мощный циклон, пройдя через Скандинавию, гонит воду Балтики в Ботнический залив. Длинная волна, дойдя до горловины залива, утыкается в Аландские острова и при сильном западном ветре поворачивает на Петербург. По мере приближения к городу набегающий вал становится все выше, образуя настоящее цунами.

Рыбаки, жившие в устье Невы еще в шведские времена, предупреждали Петра и его царедворцев: каждые пять лет эти места заливают потопа. Здесь и строили не избы, а рыбацкие хижины. При подъеме воды их разбирали, бревна связывали в плоты, привязывали к деревьям. Сами же спасались на Дудоровой горе, что в десятках верстах к югу от реки.

Через три года после основания Петербурга царь лично лицезрел наводнение, и оно его только развеселило. Из письма Меншикову: «У меня в хоромах было сверх полу 21 дюйм; а по городу и на другой стороне по улице свободно ездили в лодках. (Петр писал это в своем знаменитом “домике”, городом он называл нынешнюю Петроградскую сторону, другой стороной – теперешний центр города. – Л. Л.) И зело было утешно смотреть, что люди по кровлям и деревьям, будто во время потопа сидели, не только мужики, но и бабы». Столицу решено было строить на местности, готовой в любой момент оказаться под многометровым слоем воды.

10 вечера 6 ноября 1824 года – на башне Адмиралтейства вывешены сигнальные фонари, предупреждавшие о подъеме воды в реке. 7 утра 7 ноября – пушки Петропавловской крепости стреляют каждые четверть часа: уровень воды повысился на 180 сантиметров по отношению к ординару. Температура воздуха +7. 10 утра – по Дворцовой и Английской набережным флагируют гуляющие. От залива идут волны. Вода бьет фонтаном из подвалов. 11 часов утра – вода неожиданно начала резко подниматься. 12 дня – Нева хлынула на набережные и затопила весь город, кроме Литейной и Рождественской частей. Река не поднималась так высоко никогда прежде – уровень воды был в этот день на 412 сантиметров выше ординара.

Площади превратились в озера, улицы – в реки. По ним носились корабли и баржи, сорванные с якорей. Они ударялись всей своей массой в стены домов, разрушая их. Люди карабкались на крыши, барахтались в воде, цепляясь за доски, могильные кресты, обломки зданий. В подвалах Императорской Публичной библиотеки плавали сомы. Одно семейство оказалось на дне огромного пустого металлического котла. Лошади и коровы почти все погибли в стойлах и каретных сараях, и вода носила их раздувшиеся трупы.



Большая Подъяческая улица во время наводнения 25 ноября 1903 года

В три часа дня вода неожиданно и быстро стала спадать. Утром ударил мороз, многие спасшиеся от наводнения стали жертвой холода. Всего погибло 569 человек, 462 дома было уничтожено. Стихия напомнила о себе потомкам Петра.

В 1833 году Пушкин напишет «Медный всадник». «Кумир на бронзовом коне», «чьей волей роковой над морем город основался», и построенный им Петербург – главные герои поэмы. Рок, тяготеющий над Петербургом, отныне в русской культуре будет символически связан с памятником Петру на Сенатской площади. Государственная воля Петра и судьба маленького человека Евгения. Природа и цивилизация. Россия, поднятая на дыбы. «То о трупы, трупы, трупы спотыкаются копыта» всадника у Блока. «В темных лаврах гигант на скале, – завтра станет ребячьей забавой. Уж на что он был грозен и смел, да скакун его бешенный выдал. Царь змеи раздавить не сумел, и прижатая стала наш идол», – писал Анненский.



Наводнение в Ленинграде 1924 года. Театральная площадь

С тех пор Нева еще сотни раз выходила из берегов. Но город подрос, появилась Дамба, и его не так просто залить.

Те подъемы, которые в позапрошлом веке приводили к катастрофе, ныне способны разве что промочить ноги гуляющим по набережной. Но ощущение искусственности и рискованности города от этого не уменьшилось.

6. Опасный

Питер – город опасный, особенно для начальства. Здесь был убит наследник престола – царевич Алексей Петрович, три императора – Петр III, Павел I и Александр II, взорван эсерами министр внутренних дел Плеве, застрелены террористами еще один министр внутренних дел Сипягин и министр народного просвещения Боголепов, взлетела на воздух дача премьер-министра Столыпина, убиты генерал-губернатор Милорадович и градоначальник Фон Лауниц, а градоначальник Трепов тяжело ранен Верой Засулич. Умер в сибирской ссылке первый генерал-губернатор Александр Меншиков, 20 лет провел в Сибири генерал-губернатор Бурхард Миних, 13 лет – генерал-полицмейстер Антон Девиер. С момента основания в городе произошло 5 дворцовых переворотов и 5 революций (считая Кронштадтское восстание и восстание декабристов). Большевики в 1918 казнили в Петропавловской крепости троих великих князей. Из руководителей коммунистической организации города расстреляно девять и один – Киров убит. Советскую городскую элиту уничтожали под корень трижды: в 1926-м после падения Григория Зиновьева, в 1934-м после убийства Кирова и в 1949-м во время «Ленинградского дела». Первый мэр Петербурга – Собчак вынужден был полтора года скрываться в Париже и загадочно умер вскоре после возвращения на родину. В самом центре города, на

Невском проспекте, в 1997 году застрелили вице-губернатора Маневича. В Питере всегда был силен дух оппозиции. В 1989 году ленинградцы прокатили на выборах всю местную номенклатуру, в 1996-м скинули Собчака, а в 2011-м фактически «ушли» Валентину Матвиенко и все ее окружение.



Взрыв на даче премьер-министра П. А. Столыпина 12 (25) августа 1906 года. Фото Карла Буллы



Остатки экипажа после взрыва на даче П. А. Столыпина. Фото Карла Буллы

7. Третий

Петербург – самый большой нестоличный город Европы. С начала XIX века Петербург оставался третьим по населению городом Европы (он то догонял, то превосходил Берлин, Париж, Вену, Неаполь, Москву и всегда уступал Парижу и Лондону). Третий он и теперь: Москва – 9,3, Лондон – 7,6, Петербург – 5 миллионов человек. От бывшего столичного статуса – императорские и великокняжеские дворцы, Эрмитаж, Мариинский театр, обилие казарм, триумфальных арок, правительственных зданий.

8. Музей архитектуры

Нет места в мире, где было бы столько сохранившейся архитектуры неоклассики, эклектики, модерна, ретроспективизма. Молодой Петербург – в этом смысле самый большой старый город Европы. В войну его бомбили, но гораздо меньше, чем Лондон, Сталинград, Берлин или Роттердам. С другой стороны, Ленинград в годы советской власти считался городом провинциальным, и на шедевры социалистического зодчества денег местной власти не хватало. Не было даже достаточно динамита для сноса церквей. Жилищное строительство велось на окра-

инах. В результате в Петербурге почти полностью сохранились жилые каменные дома предреволюционного города – примерно пятнадцать тысяч зданий. От Обводного канала до Большой Невки и от Александро-Невской лавры до торгового порта город остался почти таким, каким он был в 1917 году. Поэтому сколько бы времени вы не провели в Петербурге, если вы зеваете, если вам нравится живая жизнь и разнообразие городского ландшафта, то Петербург идеальное место, чтобы напитать взор и потешить воображение.

9. Больше чем Венеция

Петербург – чемпион Европы по количеству мостов, вице-чемпион по количеству каналов и островов. В Петербурге 48 рек и каналов, 160 километров набережных, 800 мостов (в Венеции больше каналов – 157 и островов – 118, но меньше мостов – 378). Сейчас, когда количество прогулочных катеров, моторных лодок, теплоходов растет экспоненциально каждое лето, не воспользоваться возможностью осмотреть город с воды – преступление.

10. Мифы

Петербург – город, смысл и назначение которого менялись от поколения к поколению.

От Петра до Николая I Петербург в общественном сознании воплощал идеи величия Российской империи – прогресса, порядка, закона, разрыва со старомосковской «дикостью», от Прокоповича до Батюшкова и знаменитого вступления к «Медному всаднику» российская столица воспринималась как город, построенный с чистого листа, олицетворение будущности России. Петр оптимистически попирает змею и оправданно поднимал Россию на дыбы.

Со времен «Медного всадника» и вплоть до начала XX века отношение к императорской России и к ее державному основателю резко меняется. Петр и Евгений, государство и «маленький человек». Петербург – воплощение строя, основанного на произволе над человеческой личностью. Классический Петербург воспринимается отныне как бездушное скопище «языческих храмов в чухонских болотах», казарм и дворцов – нечто глубоко формальное, неоригинальное, второсортное. Это ощущение города пропагандируется «властителями дум» от Гоголя и Лермонтова до Достоевского и Салтыкова-Щедрина. Оно продолжается в XX веке у Блока и у Анненского («потопить ли нас шведы забыли»). В творчестве архитекторов, начиная с Тона, чувствуется желание как можно дальше уйти от традиций классицизма и ампира, они как бы стесняются петербургского «золотого века».

Пассеизм круга «Мира искусства» насытил 1900–1910-е годы мазохистическим предчувствием прихода «грядущего хама» и гибели русской государственности. Серебряный век помнит, что был еще и золотой – от Петра Великого до автора «Медного всадника».

В советское время изучение классического Петербурга становится на некоторое время одной из немногих легально возможных в Ленинграде форм ностальгии по старому Петербургу. Летний сад, Царское село, Мойка, 12, становятся понятиями-символами. Книги местных краеведов и историков архитектуры, поэзия от Ахматовой до Бродского несут послание об имперском, столичном прошлом. С другой стороны, официальная позднесталинская Россия черпает в классицистическом Петербурге некую модель для заимствования этикета, архитектурных форм, геополитических идей.

С 1950-х годов интерес к классическому Петербургу вытесняется двумя другими мифами: о Петербурге Серебряного века и о Петербурге Достоевского. Своеобразную красоту брандмауэров и дворов-колодцев первым почувствовал Добужинский. Переоценке города середины XIX века способствовали «Петербург Достоевского» Анциферова и «Северная элегия» Анны Ахматовой. С конца 1950-х годов интерес к творчеству Достоевского приобретает все более широкий характер («Идиот» со Смоктуновским в БДТ; сенсационный успех иллю-

страций Ильи Глазунова). К тому же при всей незамысловатости рядовой «штукатурной» архитектуры эклектики она выглядела человеческой и разнообразной на фоне архитектуры хрущевско-брежневской. Петербург Достоевского предстает как бы Петербургом *par excellence*.

Восхищение «новой Америкой», редкое для русской культуры удовлетворение настоящим, было свойственно и первому ядру петербургских пассаистов – мирискусникам и акмеистам. Но настоящий миф о 1913 годе был создан в постреволюционное время реальными и внутренними эмигрантами. «Блистательный Санкт-Петербург» становится своеобразным градом Китежем, воплощением потерянной России. Именно полузапретная информация о предреволюционной столице – ее рынках, журналах, архитекторах, храмах, обычаях становится онтологической основой позднепетербургского мифа 1920–1990-х годов. Своего апогея любовь к акмеизму, модерну, неоклассике достигает в 1970–1980 годы.

У большевиков цельного мифа о Ленинграде не было. Ранняя версия (до середины 1920-х) исходила из идеи Петрограда как четвертого Рима, города, в котором началась мировая революция. Ленин становился в ряд с Константином и Петром. Москва в будущем должна была оставаться столицей РСФСР, Петроград-Ленинград – столицей всемирного СССР, местоположением Коминтерна, председатель которого Григорий Зиновьев именно здесь имел свою ставку.

В послевоенное время появляется «блокадный миф», дополняющий кировско-ждановский (Киров после гибели становится местнотимым коммунистическим святым, потеснив Урицкого, Володарского и прочих Крунштернов, Восковых, Толмачевых, Скороходовых). И Киров и в особенности блокада становятся частью и народного ленинградского мифа. «Город славы и беды» словами Ахматовой. Возможно репрессии 1947–1949 годов против выходцев из Смольного, с одной стороны, и писателей, с другой, связаны с потенциальными опасностями, которые ощущало в этом мифе высшее руководство страны.

В последние десятилетие Ленинград воспринимается городом Бродского, Довлатова, «Сайгона», Гребенщикова, Науменко, Цоя, «Митьков», хипповской «системы», Масяни, группы «Ленинград» – столицей неофициальной России.

Все петербургские мифы имеют свойства порождать актуальную культуру, в том числе и архитектуру. Петербург еще преподнесет немало сюрпризов.

Пролетарская рыбка

Исторически петербургский стол отличался от московского разве что большей ориентацией на импорт и европейские (прежде всего немецкие) вкусы. У нас употребляли кофе, Москва считалась чаевницей. Виссарион Белинский писал: «Петербургский простой народ несколько разнится от московского: кроме полугара (водки. – Л. Л.) и чая он любит еще и кофе, и сигары, которыми даже лакомятся подгородные мужики; а прекрасный пол петербургского простонародья, в лице кухарок и разного рода служанок, чай и водку отнюдь не считает необходимостью, а без кофею решительно не может жить».

Стопку водки все социальные классы закусывали бутербродом с ломтиком шотландской или голландской сельди. Селедка и соленая треска с картошкой сначала завоевали петербургское простонародье, а уже потом стала пищей пролетарских кварталов других промышленных городов.

Весной, с открытием навигации, люди светские объедались привезенными из Франции устрицами. Москва ориентировалась больше на свежую рыбу с Волги, Питер – на Неву и Балтику. В ресторанное и великосветское меню входили балтийский лосось и ладожский сом, жареные и маринованные миноги, консервированные рижские шпроты, ревельские кильки. Сейчас многие особенности петербургской кухни исчезли, нивелировались. Осталась корюшка.

У каждого американского штата помимо флага, герба и гимна имеются официальное прозвище, девиз, тотемные дерево, цветок, животное. Скажем, штат Нью-Йорк – имперский штат, девиз – «всегда вперед!», цветок – роза, дерево – сахарный клен, животное – синяя птица (есть у них такая), официальная песня – «Я люблю Нью-Йорк».

В субъекте федерации Санкт-Петербург есть герб и флаг, позаимствованные у дореволюционной Петербургской губернии, полуофициальный «Гимн великому городу». Ни цветка (одуванчик? настурция? кактус «Царица ночи» из Ботанического сада?) ни дерева (липа? тополь? дуб Петра Великого?). С девизом тоже непонятно (варианты – «Питер бока повытер», «Город над вольной Невой», «Зенит – чемпион!»). Но вот на роль питерского символа в животном мире претендент один – *Osmerus eperlanus* – корюшка обыкновенная.

Впрочем, как и Белые ночи, которые празднуют только в Петербурге (а могли бы – в Мурманске, Осло, Рейкьявике), корюшка – бренд присвоенный. Водится она и на Дальнем Востоке, и на Онеге, и в Белом море. Но сверхценность приобрела именно в Питере.

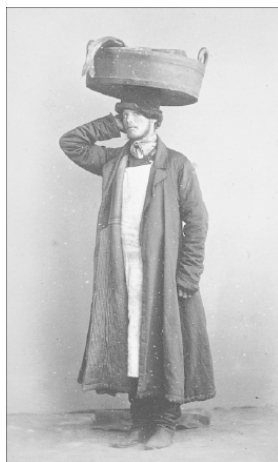
Мы любим наш тотем, каждую весну его ловим и едим. Вдумываясь в историческую символику небольшой рыбки из семейства лососевых приходишь к выводу: это божье создание символизирует не исторический Петербург, скорее – Ленинград. Довольно пролетарская рыбка.

Только наивный провинциальный городничий из «Ревизора» представляет себе столицу как город, где он, будучи большим начальником, станет есть эту рыбу: «Да, там, говорят, есть две рыбицы: ряпушка и корюшка, такие, что только слюнка потечет, когда начнешь есть». Не знали эту рыбицу ни в свете, ни в гвардии. Севрюга, стерлядь, в крайнем случае, налим или карп – вот рыбная перемена за столом аристократа.

Корюшку, ряпушку и миногу ловили на невском взморье рыбаки-отходники, приходившие в Петербург из Осташковского уезда Тверской губернии, с озера Селигер. В Петербурге их кликали «осташи». Как правило, осташи делили занятие рыбацким промыслом между Селигером и Невой: лето проводили в родных местах, а с конца октября до начала весны (а иногда и вплоть до июня) промышляли в Петербурге или Кронштадте. Зимой рыбу ловили из подо льда на Финском заливе.

Когда река вскрывалась, осташи работали на тонях. Рыбацкая тоня представляет собой избушку, воздвигнутую на отмели: во избежание наводнения она высоко подымается на столбах над поверхностью воды. Рыба ловится «мотнею» сажень 300 длины и 3–4 ширины, смотря по глубине моря. Закинутая мотня опускается в море стеною от поверхности воды вплоть до дна. Мотню с обеих сторон тянут на берег при помощи ворота, который приводится в движение поденщиками. Когда закинут невод, поденщики медленно вертят ворот, ходя по кругу «в ногу» и понуриив головы. За раз вытягивали по 50 пудов рыбы (800 килограмм). Всего же за путину невские рыбаки добывали примерно 200 тысяч пудов корюшки.

Корюшкой и ряпушкой торговали с лотков разносчики, покупавшие ее рано утром у оптовиков на рыбной бирже, что существовала на Фонтанке у Семеновского моста. Десяток рыбок продавался с лотка за 3–8 копеек. Цена смехотворная, любой жалкий поденщик зарабатывал в столице за день минимум полтинник.



Торговец рыбой. 1860-е годы

Ближайший родственник корюшки – снеток ловился на Псковском и Чудском озере и на Ильмене. Снетков сушили, грузили в корзины и доставляли на санях в Петербург. Особый спрос на снетков был в Великий пост. Вообще же эта микроскопическая рыбка заменяла петербургскому простонародью семечки, которых столица не знала до февраля 1917 года, когда призванные из Малороссии и с Кубани солдаты Петроградского гарнизона усеяли лузгой тротуары Невского проспекта.

Корюшка и снеток – рыбы петербургских окраин. Их не знали французы-повара «Кюба», «Донона», «Бореля», «Констана» и других «гвардейских» ресторанов. Корюшка – для тех, кто ходит не с парадного, а с черного хода: горничных, кухарок, дворовых мужиков. Как вспоминала Ахматова, «на черной лестнице пахло жженым кофе, постным маслом на масле-ницу, корюшкой весной и всегда кошками».

Снеток и корюшка – Пески, Выборгская сторона, трущобы у Сенной площади: там ее вкус знали хорошо.

Золотое время корюшки пришло с военным коммунизмом, когда Петроград натурально вымирал от голода, в отличие от окруженной сельщиной Москвы или провинциальных городов, где свинки и коровки на подворьях не переводились никогда.

Выяснилось – рыбка естественное богатство столицы, ставшей провинцией. Ежегодно возобновляющийся пищевой ресурс. В суровые времена фабрик-кухонь, заводских столовых, карточек и дефицита, эта рыбка вносила в ленинградский стол неожиданное разнообразие, а ее не зависящий от идеологии ежегодный нерест свидетельствовал о том, что не вся природа еще покорена плановыми органами.

Сложность заключалась в том, что до 1940 года граница с Финляндией проходила рядом с Сестрорецком, да и Ладога считалась пограничной зоной. Появление здесь рыбака на ялике, или передвижение по льду категорически запрещалось. На удочку корюшку ловили только в Неве.

В блокаду корюшка не могла спасти горожан. Люди ослабли настолько, что им не хватало сил на подледный лов. А ту, что ловили специальные артели, шла на питание «трудящихся Смольного». Весной 1942 года (в городе в день умирает по 7 тысяч человек) партийный работник Николай Рабковский отдыхает на Карельском перешейке в Мельничном Ручье, рядом с дачей Жданова: «Питание здесь, словно в мирное время: разнообразное, вкусное, высококачественное. Каждый день мясное – баранина, ветчина, кура, гусь, индюшка, колбаса; рыбное – лещ, салака, корюшка, и жареная, и отварная, и заливная».

Только после войны в 1950-е ежегодное появление лотков с корюшкой стало местным календарным праздником (как Седьмое ноября, Белые ночи и отправка детей в пионерские лагеря). Появление корюшки – приход весны.

Корюшка становится фирменной маркой Ленинграда, как в других местах – торт «Киевский», грузинские вина или куйбышевские шоколадные конфеты. Банку маринованной корюшки, наряду с тортом «Невский сувенир» из домашней кухни «Метрополя», «Ленинградским набором» птифуров из кулинарии «Севера», «Беломором» фабрики Урицкого везли с собою из Ленинграда командировочные.

С послевоенного времени, рыболов-любитель с коробом для подводного лова становится важным городским персонажем. Эти люди заполняют электрички на Зеленогорск и Петрокрепость, а в последнее время выезжают на машинах на лед. Рыба – глубоководная, ловится лучше всего на глубине 30–40 метров, далеко от берега. Главные места лова – район бывших фортов Красная Горка и Серая лошадь на южном побережье Финского залива, и от кронштадтской дамбы до Приморска – на северном. Корюшку ловят и на Ладоге, особенно в устьях Волхова и Свири.

Городок Сестрорецк на время нереста вымирает. По словам тамошнего уроженца телеведущего Павла Лобкова, «с 20 апреля школьные классы пустели. Город вонял рыбой. Учителя даже забывали про уроки, потому что все равно никто не ходил. Все заболели, были эпидемии ветрянки, кори, чумы. И всю эту ветрянку можно было видеть на вот этой плотине, которую Петр построил, чтобы удержать озеро Разлив. Но корюшка-то об этом не знала и плыла против течения. Корюшка была еще одной нашей отличительной особенностью от города, потому что презренные петербуржцы даже не знали, что такое «паук», что такое «телевизор» (местные разновидности сачков). Как с этим человеком можно было разговаривать?!...»

«Корюшатники» делятся на утренних и вечерних – рыба ловится лучше всего на рассвете и на закате. Когда с рыбалки возвращаются с пятью килограммами корюшки, считают, повезло.

Охота на корюшку – занятие небезопасное. По льду уходят далеко, иногда километров на пять от берега. Лучший лов – в марте, апреле, когда ледовый покров начинает таять. Знаком весны в Петербурге становятся сообщения о том, как МЧС спасло рыбаков с очередной оторвавшейся льдины. И на этой льдине – сантехники, банкиры, искусствоведы из «Эрмитажа». Здесь становятся друзьями на всю жизнь.

В начале 1990-х мои приятели долго не могли «решить вопрос» по обустройству своего участка на Карельском перешейке. В конце концов, разузнали: помочь им может только вдова недавно убитого известного всему городу бандита. Нашли общие связи, созвонились с помощником вдовы, randevu назначили на 21 километре Приморского шоссе. В назначенном месте их встретили люди крепкого сложения, повели по льду. Шли, и шли, и шли так, что, в конце концов, стало приятелям не по себе. Наконец увидели становище: четыре джипа своими багажниками окружили маленький пяточек. Перед лункой сидела матрона с удочкой, рядом короб – со свежей корюшкой. Бандитская вдова недовольно оторвалась от лунки, ей подали телефон:

вопрос решился в районной администрации, и рыбачка, быстро распрощавшись, стала снова следить за поклевкой.

В подледной ловле есть несколько специфических прелестей, идеально лежащих на местный петербургский нрав. Здесь громкий разговор встречает всеобщее молчаливое осуждение. Даже главные местные питейные заведения – рюмочные наполнены одиночками, не вступающими в контакт с собутыльниками. Подледный лов – человек на льду, наедине с лункой под хмурым балтийским небом. Пример отчуждения и экзистенциального одиночества.

Петербуржец с риском для жизни рыбачит где-нибудь на Ладоге или в Комарово, зная – любой риск и похмелье будут оправданы в глазах жены и детей сковородой с тесно уложенными спинкой друг к другу рыбешками.

Этот симбиоз рыбы и города – лучшая память о Ленинграде. За 65 лет существования он оставил не так уж много достойных материальных памятников. Но Ленинград был, мы в нем выросли и прожили более ли менее счастливые годы. И каждая весна отмечена в памяти запахом свежего огурца от лотков со свежей рыбой.

Рюмочные: уходящая натура

Рюмочная – чисто советское учреждение. Даже не просто советское, а именно ленинградское. В Тбилиси – хинкальные, в Одессе – бodeги, в Москве – пивные. Хмурые ленинградские мужчины всегда выпивали в рюмочных.

Зима начинается у нас в ноябре, заканчивается в конце апреля. Пронизывающий ветер с залива, слякоть; на тротуарах – смесь грязи, соли и снега. Огромные продуваемые площади, прямые проспекты: от метели не спрятаться. Чтобы уцелеть, надо или толкаться в общественном транспорте, или стоять в пробках у мостов через многочисленные водные протоки – от Большой Невы до Черной речки.

По улице можно двигаться только перебежками – от теплого вестибюля метро до книжной лавки или магазина оловянных солдатиков.

Рюмочная, где можно хлопнуть, заесть горячим и ни с кем из присутствующих не вступать в обременительный контакт, как колодец в пустыне, почтовая станция на тракте.

Цены копеечные, тишина, порядок. Всё молча, с чувством собственного достоинства. Махнул – побежал дальше, к дому, в гости, в филармонию.

Старая Россия рюмочных не знала. Их функции отчасти выполняли трактиры с горячительными напитками, пивные, ренсковые погреба. В Петербурге пропустить наскоро рюмку под пирожок можно было в ресторане «Доминик» и кондитерской Федорова.



В очереди за водкой. Петроград. 1920-е годы

Но всяк сверчок знал свой шесток. Выпивать из горлышка «сороковку» у выхода из ренсковых погребков, отбивая на ходу сургучную пробку, могли крестьяне – сезонники; в пивных сживали станочники с Выборгской стороны; в «чистой половине» трактиров под графинчик и селянку слушали «музыкальную машину» торговцы Апраксина рынка. «Пролетарии умственного труда» – репортеры, студенты-репетиторы, мелкие чиновники трактирами пренебрегали: пусть плохонький, но ресторан.

Все это многообразие исчезло в 1914 году с введением сухого закона и вновь появилось только в 1925-м, когда уже советским людям разрешили потреблять алкоголь невозбранно и открыто.

Ленинградские питейные заведения эпохи НЭПа выглядели пародией на своих дореволюционных предшественников. Здесь кутили как в последний раз растратчики, мелкие торговцы, налетчики вперемежку с инженерами из «бывших».

Вспоминал Вадим Шефнер: «А рабочий класс сживал в пивных (впрочем, водку там тоже наливали). Пивных самого разного разбора в городе хватало с избытком; в частушке нэповских лет горделиво сообщалось: “Петроград теперь иной, в каждом доме по пивной!”».



Рабочие Обуховского района в трактире. 1920-е годы

Пивные делились на обычные и «культурные». Как пелось в тогдашней назидательной песне:

«Слышен звон серебра из кармана,
Это деньги на пьянство пойдут,
А вдали показалась пивная,
Гражданин, не причаливай тут!
Слышно хлопанье пробок от пива,
От табачного дыма туман,
А в культурной пивной так красиво:
С бубенцами играет баян!»

Сталинские пятилетки, казалось, вообще похоронили идею выпивки и закуски. Создавалась пищевая индустрия, хорошая или плохая – другой вопрос, но общественное питание отрицает избранность.

Правда в 1930 годы Сталин изрек две максимы, оставившие и ресторанам, и разливушкам лазейки: «жить стало лучше, товарищи, жить стало веселее» и «кадры решают всё».

Высшим кастам советского общества полагалось нечто недоступное простым смертным: «Форд» или «Победа», квартира-«сталинка», Сочи и ресторан. Здесь орденосцы, командармы, летчики, академики, народные артисты потребляли блюда из знаменитой микояновской «Книги о вкусной и здоровой пище».

Но рабочий класс, как писал Владимир Маяковский, «жажду заливал не квасом», и в его жизни помимо социалистического соревнования должны были быть какие-то удовольствия. К концу 1930-х стали появляться буфеты, закусочные, заведения «Советское шампанское», павильоны «Пиво. Воды» и, наконец, рюмочные. Цель всего этого многообразия была одна – приучить население выпивать «культурно», под закуску и под начальственным приглядом.

Расцвет жанра пришелся в Ленинграде на послевоенное время.

Как писал великий драматург и автор «Записок нетрезвого человека» Александр Володин:

«Убитые остались там,
А мы, пока еще живые,

Все допиваем фронтовые,
Навек законные сто грамм».

К 100 граммам полагался бутерброд – четыре кильки на куске хлеба, столько же исполнительниц было в модном тогда вокальном квартете: поэтому называлась эта традиционная закуска «сестры Федоровы».

В первой половине 1950-х чуть ли не половина всех политических дел возбуждалась из-за вольномыслия в рюмочных – посетители отогревались, выпивали, языки развязывались.

Важная характеристика послевоенных рюмочных – всесословность. Рестораны для подавляющего большинства населения были все еще недоступны. И все – от офицеров до студентов, от «ототкинувшихся со шконки» уголовников до фрезеровщиков 6-го разряда – стояли за круглыми столиками со столешницами из искусственного мрамора.

Пейзаж начал меняться где-то к середине хрущевского царствования. Поколение Бродского и Довлатова открыло для себя ресторанные возможности: оказалось, цены на «Крыше» в «Европейской» или в «Кавказском» не так уж сокрушительны. Главное – не бояться грозного швейцара.

Стали появляться аналоги рюмочных для ленинградского среднего класса. Это были заведения с буфетной стойкой, без официантов, где не заставляли снимать пальто (такие как «Щель» в гостинице «Астория»). Здесь всегда было темно от шинелей морских офицеров и каракулевых шубок их прелестных дам. Как вспоминает завсегдатай: «На прилавке всегда 3–5 сортов лучшего коньяка, шампанское всех видов и даже “Мускатное”, красная и черная икра, рыбка красная и белая: белуга, севрюга, кета, лосось – и выпить там 100х100 (коньяк + шампанское – в просторечии “Бурый медведь”) или 150 коньяка перед обедом было блаженством».

Рюмочная оставалась прибежищем квалифицированных, «умственных» рабочих, определявших социальное лицо города: серьезные, зарабатывающие мужчины – рыбалка, походы на стадион Кирова, отпуск в заводском профилактории или на садовом участке. Эти заведения для посетителей, окончивших рабочую смену, играли ту же роль, что в Англии – пабы. Благо на каждый из 15 районов города в среднем имелось 103 заведения, где наливали спиртное (они могли называться бутербродными, закулочными, буфетами). Ну а молчаливое большинство, презираемое посетителями рюмочных, норовило «сообразить на троих» и выпить в парадняке из граненого стакана, украденного в автомате «Газированная вода». На севере всегда много и тяжело пьют. Недаром Достоевский думал написать роман о Петербурге под названием «Пьяненькие».

В 1990-е годы советские обыкновения много и чаще всего не смешно пародировали. Ностальгия укутывалась иронией. Все эти петербургские псевдосоветские рестораны «Зов Ильича», «На здоровье» радовали разве что скупавших военные ушанки и матрешки с Горбачевым–Ельциным – Путиным иностранцев. Ближе к сути подошла сеть пивных «Толстый фрайер», основанная Александром Розенбаумом, здесь и еда доступная студентам, и музыка ностальгическая, и скумбрию к водке подают.

Рюмочные не перестраивались, они никуда не исчезали. Они остались, как Ростральные колонны, «Зенит» и Белые ночи, не меняя функции.

Давно замечено – все дорогое лучше в Москве, дешевое – в Петербурге. У нас нет изысков Аркадия Новикова, зато душевно посидеть за пару сотен рублей, не отравившись, можно на каждом углу. В первопрестольной общепит какой-то континентальный, как климат, – или очень хорошо, или опасно, неопнятно, гнусно. А Питере за свои 100–200 не отравишься и не получишь по морде.

Рюмочных, в отличие от Москвы, в Петербурге много – штук 50. Дело и в традициях, и в покупательной способности – 100 грамм с бутербродом стоят 100 рублей.

Классические рюмочные – заведения, где пьют стоя, поставив стакан и закуску на полочки, идущую вдоль стен или круглые, высокие столики. Пьют водку, коньяком и портвейном пренебрегают. Закусывают бутербродами.

Строгая женщина, часто татарка, знающая завсегдатаев и их обыкновения наизусть, быстро пресекает всякое поползновение на нарушение порядка. Да и сами посетители встречают любое повышение голоса со стороны подвыпивших клиентов недовольными взглядами, а могут и выкинуть на улицу. Впрочем, если постоянный посетитель заслужил своим поведением одобрение – ему будет открыт кредит. И можно будет заплатить «хозяйке» и товаром: рыбой, грибами.

Единственное усовершенствование, произошедшее в последние годы в рюмочных, – появление горячих закусок – яичницы, сосисок, иногда супа. Но сути это не меняет. Расчет на быструю сменяемость контингента. Засиживаться не принято. Если приятели не хотят расставаться, идут в соседнее заведение, благо оно, как правило, недалеко.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.